

Три миски вонтонов.

Тот монах появился в дождливый день.

Осенний дождь в поселке Цинши шел неторопливо, морося уже три дня кряду. Листья софоры от дождевой воды казались начищенными до блеска, а вымощенная зеленой плиткой дорога у входа в лавку влажно блестела, отражая теплый желтый свет вонтонной. Лю Рюань лежала на прилавке, от скуки перебирая костяшки абака. Шэнь Цзинчжэ на кухне томил костный бульон — он варился уже два часа, и аромат пробивался сквозь щель в занавеске, смешиваясь с сыростью дождливого дня и заставляя прохожих то и дело оглядываться.

В лавке не было посетителей. В дождливые дни торговля всегда шла хуже.

Я сидел на табурете у входа, перелистывая старую книгу, позаимствованную у Янь Байлоу, — Записи о диковинках Великой Чжоу, где рассказывались всякие нелепые и фантастические истории. Как раз открыл главу о Равнине Белых Костей, на страницах которой было написано: «В этом месте таится злоба, которая не рассеивается три тысячи лет», и только подумал про себя, что эта книга устарела, как свет у входа внезапно померк.

Кто-то стоял на пороге.

Монах.

Молодой, совсем молодой, на вид он был едва ли старше меня. На нем было застиранное добела серое монашеское одеяние, а на ногах — соломенные сандалии, сплошь покрытые грязью. Он стоял под дождем, без зонта, и дождевая вода стекала по его голой макушке, омывая межбровье, переносицу и плотно сжатые губы.

Он смотрел на меня.

Я тоже смотрел на него.

Затем он заговорил.

— Благодетель, — произнес он, — этот бедный монах проголодался.

Голос был тихим, чистым, без угодливости, свойственной побирающимся нищим, и без торжественности, с которой просят подавание странствующие аскеты. Самый обычный тон, словно путник, оказавшийся вдали от дома, постучал в дверь земляка со словами: «В доме есть еда? Я проголодался».

— Заходи, садись. — я кивнул на свободное место рядом.

Монах произнес слова благодарности и переступил порог. Он подошел к столу и сел, двигаясь очень тихо. Усевшись, он положил руки на колени, не прикасаясь ни к чему на столе. Вода с его рысы капала на пол, собираясь в небольшую лужицу. Казалось, он вовсе не чувствует холода или сырости.

Лю Руянь приподнялась на локтях с прилавка и окинула его взглядом:

— Разве монахам можно есть мясо? У нас фирменное блюдо — вонтоны, со свиной и тремя свежими ингредиентами.

Монах задумался.

— Можно.

— Разве вы, люди религиозные, не воздерживаетесь от греховной пищи?

— Будда говорил, что нельзя лишать жизни. Но свинья уже мертва, мясо уже порублено, вонтоны уже слеплены. Если не съесть, добро пропадет зря. Расточительство — вот это настоящий грех. — монах сложил ладони у груди. — Поэтому этот бедный монах будет есть. Три миски.

Лю Руянь на мгновение замерла, а затем повернулась к кухне и крикнула:

— Шэнь Цзинчжэ! Три миски вонтонов! Для этого... кхм, мастера!

Шэнь Цзинчжэ откинул занавеску и бросил на монаха взгляд. Монах сложил ладони и слегка поклонился ему. Шэнь Цзинчжэ не ответил на приветствие, лишь вытер руки полотенцем для столов и повернулся обратно на кухню. Перед тем как занавеска опустилась, я услышал его тихий голос:

— Мастер.

Он сказал это так тихо, что расслышать мог только я.

Не мастер боевых искусств или совершенствования. В этом монахе не было ни малейших колебаний духовной энергии, он походил на самого обычного смертного. Но «мастера», о которых говорил Шэнь Цзинчжэ, никогда не ограничивались лишь уровнем развития.

Подали три миски вонтонов. Монах опустил взгляд, взял палочки для еды, подцепил один вонтон, отправил в рот, дважды пожевал, и его глаза слегка сузились.

— Вкусно.

— Спасибо. — голос Шэнь Цзинчжэ донесся из кухни, в нем прозвучало чуть больше тепла, чем обычно. В конце концов, услышать похвалу своим вонтонам для Шэнь Цзинчжэ, пожалуй, было приятнее, чем похвалу своему искусству владения мечом.

Закончив первую миску, монах отложил палочки, взял миску и допил бульон до последней капли, не оставив ни единой капли. Затем он взял вторую миску и продолжил есть.

Лю Руянь подсела ко мне и понизила голос:

— Что с этим монахом? Словно голодный демон переродился?

— Наверное, прошел долгий путь.

— Зачем монаху куда-то идти? Неужели собирал подаяние и дошел до поселка Цинши? Наше место ведь вовсе не какая-то буддийская святыня.

Монах слышал ее слова, но ничего не ответил, лишь продолжил есть вонтоны. Ел он очень сосредоточенно, словно занимался каким-то крайне важным делом.

Вторая миска была пуста.

Настала очередь третьей.

На половине третьей миски он внезапно остановился.

— Благодетель, — он поднял на меня взгляд, — этот бедный монах хотел бы задать тебе вопрос.

— Говори.

— Достигнув статуса Святого, доводилось ли благодетелю встречать немого?

В лавке на мгновение воцарилась тишина. Шум дождя вдруг стал громче.

Я смотрел на монаха, монах — на меня. Его глаза были янтарными, очень светлыми, и в мрачном свете дождливого дня казались особенно прозрачными. В этом взгляде не было ни прощупывания почвы, ни расчета — лишь тихое ожидание, словно он ждал ответа на вопрос, исход которого давно знал.

— Нет, — ответил я.

— Тогда, — монах сделал паузу, — доводилось ли благодетелю видеть человека, который не умеет писать?

— Людей, которые не умеют писать, на улицах полно...

— Не в смысле «не умеет». — монах перебил меня, его тон оставался спокойным, но говорил он гораздо медленнее, чем прежде, и каждое слово звучало так, будто его предварительно тщательно взвесили. — А в смысле не может. Берет кисть, и рука начинает дрожать. Раскладывает бумагу, и в глазах рябит. То, что хочется сказать, доходит до кончиков пальцев и тут же рассеивается. Не то чтобы не хочет писать — просто не в силах.

Его пальцы бессознательно очерчивали край миски — круг за кругом.

— Кисть такого человека, — произнес монах, — тяжелее меча.

В лавке никто не произнес ни слова. Лю Руянь перестала улыбаться. На кухне затих стук, с которым рубили начинку.

Я смотрел на монаха, на его янтарные глаза и пальцы на краю миски. Его пальцы были тонкими, с четко очерченными суставами, на перепонках между большим и указательным пальцами не было мозолей от меча, но на боковой стороне среднего пальца красовалась толстая огрубевшая мозоль. Такие бывают только у людей, которые годами не выпускают кисть из рук. Монах без мозолей от меча на руке, но с мозолью от кисти. О ком он говорил — о ком-то другом или о себе?

— Тот, о ком ты говоришь, — я отложил книгу, — кто он?

Монах опустил взгляд на оставшуюся половину вонтонов в миске, бульон в которой уже перестал дымиться.

— Мой старший сородич по учению.

— Как зовут твоего старшего сородича?

— Не знаю.

— ...

— Не то чтобы этот бедный монах скрывает. — монах поднял глаза, его янтарный взгляд встретился с моим. — Этот бедный монах действительно не знает. Я знаю лишь то, что его фамилия Сюй, он конфуцианский практик, а техника письма у него ужасная.

Сюй.

Фамилия Сюй.

Конфуцианский практик.

Ужасная техника письма.

В моей голове словно что-то шевельнулось. Не Сюй Мо. Почерк Сюй Мо крепок и полон силы, я видел записку, которую он оставил: «Черный халат — Цзинчжэ, похолодало. Палочки оставь мне, еще понадобятся, когда в следующий раз приду за вонтонами». Каждая черта его почерка держалась твердо и уверенно, будучи сухой и жесткой, как железо. Человек, способный писать в таком стиле, не имел ничего общего с четырьмя словами «ужасная техника письма».

Кто же это тогда?

Восемнадцатое поколение семьи Сюй — это я. Сюй Мо — седьмое. Между ними целых десять поколений. В семье Сюй было семьдесят два человека, и восемнадцать лет назад в том пожаре сгорела лишь часть из них. Были и другие.

— Он из поколения моего отца? — спросил я.

— Не обязательно. — монах аккуратно положил палочки на край миски. — Возможно, из поколения деда, а может, и прадеда. Кое-что об этом человеке мне известно, но не всё. Наставник не успел договорить — он ушел в нирвану.

— Кто твой наставник?

— Настоятель монастыря Ланькэ. Его буддийское имя Уфа.

Уфа. Я никогда не встречал этого имени ни в каких трактатах. Но название «Монастырь Ланькэ» я слышал — это был небольшой монастырь в глубоких горах Северного Региона, где, по слухам, стояло всего три обветшалых зала, и они даже не собирали деньги за благовония. В мире совершенствующихся почти никто не знал о его существовании, и лишь в древнейших буддийских трактатах изредка упоминалась пара строк о том, что монастырь Ланькэ — это «место слияния конфуцианства и буддизма». Слияние конфуцианства и буддизма. Монах, конфуцианский практик, кисть, которой невозможно писать.

— Об истории твоего старшего сородича тебе рассказал наставник?

— Он поведал об этом перед самой смертью. — ответил монах. — Наставник говорил, что давным-давно подобрал человека под обрывом на задней горе монастыря Ланькэ. Тот был сплошь покрыт ранами, правая рука почти полностью уничтожена, и он провел без сознания семь дней и ночей. Первым делом после пробуждения он попросил у наставника кисть, чтобы что-то написать. Но в его руке кисть дрожала, как травинка на ветру, и он не смог вывести ни единого иероглифа.

— И что потом?

— Потом он бросил это занятие. Он вернул кисть наставнику со словами: «Забудьте, я не могу писать, пойду найду того, кто сделает это за меня». — монах смотрел на меня, и в его янтарных глазах отражался теплый желтый свет вонтонной. — Наставник спросил, кого он собирается искать. Тот ответил: «Того, кто умеет писать». Наставник поинтересовался, что значит «уметь писать», а он сказал...

— Что сказал?

— Сказал: «Написанные им иероглифы должны заставить Сами Небеса признать их подлинность».

Дождь за окном внезапно прекратился.

Не постепенно стих, а оборвался резко, словно кто-то нажал кнопку паузы на небесах. В темных тучах образовался просвет, и солнечный луч пробился сквозь него, как раз осветив вход в вонтонную и серое монашеское одеяние гостя. Золотистый свет.

— А дальше? — раздался голос Лю Руянь с ноткой напряжения, которую она, пожалуй, и сама

не замечала.

— А дальше этот человек ушел. Перед уходом он оставил наставнику одну вещь со словами, что если кто-нибудь в будущем сможет писать такие иероглифы, ее следует отдать этому человеку.
— монах достал из внутреннего кармана рясы предмет и положил его на стол.

Это были четки. Очень-очень старые четки, шнурок выцвел, лак на бусинах почти стерся, обнажив первоначальный цвет дерева. Но на каждой бусине был вырезан иероглиф. Иероглифы крошечные, почерк небрежный — казалось, у того, кто их вырезал, сильно дрожали руки, но он все же вырезал их ножом, черта за чертой. Я взял четки в руки и придвинулся ближе, чтобы рассмотреть иероглифы.

Первая бусина: «Слова».

Вторая бусина: «Обязательно».

Третья бусина: «Должны».

Четвертая бусина: «Быть».

Всего восемь бусин, восемь иероглифов — «Сказанное должно быть выполнено, а дело — доведено до конца».

Сказал — сделай. Сделал — отвечай. Это был принцип конфуцианцев и первый закон техники Слова обретают форму закона семьи Сюй. В день, когда я стал Святым, дух формации передал мне слова, оставленные Небесным Путем: «Слова Святого признаются всеми мирами. Однако сказанное должно быть выполнено, а дело — доведено до конца. Нарушивший этот путь познает ответный удар Святого». Те восемь иероглифов, что изрек Небесный Путь, точь-в-точь совпадали с восемью иероглифами на этих четках.

— Кто вырезал эти четки?

— Мой старший сородич. Наставник говорил, что он вырезал эти восемь бусин целых три года. Не потому, что был столь скрупулезен, а потому, что после каждого движения ножом его рука долго и сильно дрожала. Если резьба шла неудачно, приходилось брать новую бусину и начинать все сначала. За три года испорченные бусины заполнили всю келью.

На этом монах умолк на мгновение и опустил глаза.

— Когда я принял монашеский постриг, мне было двенадцать лет. Подметая полы в Павильоне Свитков, я случайно наткнулся на старый трактат, в который была вложена записка со строчкой: «Когда найду того, кто умеет писать, вернусь в монастырь Ланькэ принимать постриг». Подпись состояла всего из одного иероглифа: Сюй.

Я спросил наставника, возвращался ли этот благодетель Сюй впоследствии. Наставник ответил, что нет. Тогда я спросил, нашел ли он того, кто умеет писать. Наставник ответил:

«Скоро».

Монах поднял голову. Его веки слегка покраснели, словно он вспомнил что-то из очень далекого прошлого.

— В день, когда наставник уходил в нирвану, он сжал мою руку и сказал: «Если однажды ты услышишь, что кто-то стал Конфуцианским Мудрецом, отправляйся к нему. Скажи ему, что в бамбуковой роще на задней горе монастыря Ланькэ зарыта кисть. Эта кисть — его, монастырь — его родной дом, а волосы... что ж, в старости брить голову уже не так важно». Вот почему я пришел. Пришел искать того самого «умеющего писать».

Он замолчал ненадолго, какое-то время смотрел на меня, а затем произнес:

— По виду благодетель совсем не похож на того, кто собирается сбривать волосы.

Лю Руянь первая рассмеялась. Она толкнула меня локтем в бок:

— Мало того что не сбрит, так еще и жену, пожалуй, завести сможет.

— Сестра.

— Что, я не права?

Монах сложил ладони у груди, и уголки его губ слегка изогнулись — это была не сострадательная улыбка монаха, а скорее проявление какого-то едва заметного торжества:

— Этот бедный монах думает так же.

— Погоди, — я отложил четки. — Ты притащился из самого Ланькэ только ради того, чтобы передать слова наставника?

— Есть и другое дело.

— Какое же?

Монах выставил три пальца:

— Три миски вонтонов. Одна миска — за человеческое участие, вторая — плата за дорогу, а третья — плата учителю за обучение.

В лавке на мгновение воцарилась тишина. А затем голос Лю Руянь взлетел на октаву выше:

— Обучение?!

— Да.

— Ты собираешься взять его в учителя? — Лю Руянь ткнула пальцем в нос монаху. — Ты же

монах, и хочешь взять в учителя Конфуцианского Мудреца?!

— В буддизме говорят о кармической связи. У этого бедного монаха есть связь с благодетелем, связь с вонтонами, а с этой старшей сородицей... — он повернулся к Лю Руянь и сложил ладони. — Связи пока нет.

— В смысле — пока нет?!

— Кармические условия еще не созрели. Быть может, появятся позже. — договорив, монах снова повернулся ко мне и достал из-за пазухи конверт, положив его на стол. Конверт был старым, пожелтевшим по краям, и на нем красовались четыре иероглифа: «Лично в руки Сюй Аню». Почерк был кривым, словно его выводил ребенок, только что научившийся писать. Но в местах окончания черт чувствовалось избыточное усилие — казалось, автор письма вложил всю свою силу в кончик кисти.

Старший сородич. Конфуцианский практик по фамилии Сюй, зарывший кисть в бамбуковой роще на задней горе монастыря Ланькэ, вложивший записку с подписью «Сюй» в старый сутринный свиток, вырезавший четки на протяжении трех лет и написавший письмо перед уходом. Четыре иероглифа на конверте — «Лично в руки Сюй Аню». Он знал мое имя. Не «тот, кто умеет писать», не «Конфуцианский Мудрец», а именно «Сюй Ань». Этот человек знал мое имя еще до того, как мы познакомились.

— Когда он написал это письмо?

— Наставник говорил, перед тем как покинуть монастырь Ланькэ. Примерно двадцать лет назад.

— Двадцать лет назад я еще не родился.

— Да.

— Почему же тогда на конверте мое имя?

Монах ничего не ответил. Он лишь чуть сильнее толкнул конверт в мою сторону.

Я вскрыл конверт. Бумага пожелтела, сгибы были глубокими, явно указывая на то, что письмо много раз сворачивали и разворачивали. На бумаге красовалась всего одна строчка, почерк был косым, со множеством следов остановок и дрожания — казалось, писавший останавливался перевести дух после каждого выведенного иероглифа:

«Сюй Ань, прости, я пытался. Кисть оказалась слишком тяжелой».

Подписи внизу не было.

Лишь одинокий иероглиф «Сюй». Он был выведен аккуратнее остальных, будто на него ушло больше всего времени — автор задержал дыхание и выводил его черта за чертой, не позволяя ему завалиться на бумаге.

Я долго смотрел на этот иероглиф «Сюй». Затем аккуратно сложил письмо, вернул в конверт и поднял глаза на монаха.

— Как зовут твоего старшего сородича?

— Этот бедный монах действительно не знает. — ответил монах. — Наставник говорил, что тот не хотел, чтобы кто-то знал его имя. Он утверждал, что человек, не умеющий написать собственное имя, недостойн иметь его.

В лавке воцарилась тишина. Дождь за окном утих неизвестно когда, а сквозь щель в тучах пробился свет, проходя сквозь ветви старой софоры и падая на вымощенную камнем дорогу пестрыми осколками теней. Шэнь Цзинчжэ вышел из кухни, держа в руках новую миску с горячими вонтонами. Он поставил ее перед монахом — в прозрачном бульоне плавали зеленые кругляшки лука и несколько листьев зелени.

— Хозяин, этот бедный монах заказывал лишь три миски.

— Эта за счет заведения. — произнес Шэнь Цзинчжэ, развернулся и направился обратно на кухню. У дверей он на секунду замер и, не оборачиваясь, сухо бросил вдогонку: — С овощной начинкой.

Монах опустил взгляд на миску с вонтонами с овощной начинкой, сложил ладони и слегка поклонился в сторону Шэнь Цзинчжэ. Затем он вновь взял палочки и принялся есть по одному вонтону, причем выражение его лица оставалось таким же сосредоточенным, словно он выполнял школьное задание.

Лю Руянь лежала на столе, подперев подбородок скрещенными руками, и ее глаза бегали туда-сюда между монахом и мной.

— Итак, — подытожила она. — Подведем итог. Твой наставник спас конфуцианского практика по фамилии Сюй, тот провел в монастыре Ланькэ несколько лет, вырезал эти четки, написал письмо, а потом закопал кисть в бамбуковой роще на задней горе и ушел. Перед уходом сказал, что вернется принимать постриг, как только найдет того, кто умеет писать. В итоге прошло двадцать лет, а от него ни слуху ни духу.

— Да.

— Потом твой наставник велел тебе разыскать Сюй Аня, рассказать ему обо всем этом, а заодно принести четки и письмо.

— Да.

— И вдобавок напроситься в ученики?

— Да.

— Ты же монах и хочешь учиться у Конфуцианского Мудреца? Чему? Писать кистью?

— Учиться говорить. — монах отложил палочки и вытер рот рукавом, двигаясь очень медленно, словно протирал какой-то ритуальный предмет. — Этот бедный монах с детства не силен в красноречии. Наставник говорил, что буддийское учение безгранично, но порой одно слово полезнее целой сутры. Монахи не лгут, но и не должны позволять правде сгнивать у них внутри. Проблема моего старшего сородича заключалась не в том, что кисть была слишком тяжелой — слова были слишком тяжелы. Он не мог их высказать и не мог записать. Этот бедный монах не хочет превратиться в такого же, как он.

После недолгой паузы монах снова заговорил; его голос стал еще тише, но каждое слово звучало так, будто ради него пришлось долго идти сквозь дождь.

— Знает ли благодетель, что перед тем, как отправиться сюда, этот бедный монах побывал в Секте Лазурного Облака? На почтовой станции у подножия вашей горы мне довелось услышать немало историй. Говорят, что техника Слова обретают форму закона у Святого работает пассивно, и сам Святой не в силах ее контролировать. Говорят, что из-за оговорок Святого одна из старших сородичей чуть не ела дерьмо вверх тормашками. Говорят, что Святого выгнали из собственной секты. Тогда этот бедный монах подумал... — он поднял на меня свои янтарные глаза. — Этот человек еще менее красноречив, чем я.

...

Лю Руянь чуть не сорвала крышу своим хохотом.

— Так он нашел не учителя, — она вытирала выступившие от смеха слезы, — а товарища по несчастью.

— Прекрасно. — монах сложил ладони, приняв серьезный вид. — Товарищи по несчастью — это тоже кармическая связь.

Глядя на этого донельзя серьезного монаха, который так невозмутимо отпускал шуточки, я вдруг подумал: если он действительно останется, эта вонтонная станет еще оживленнее. И это неплохо. Лю Руянь нужен противник, с которым можно помериться языками, Шэнь Цзинчжэ нужен посетитель, которого не пугает его ци меча, а мне нужен кто-то... кто способен понять, каково это — когда «слова слишком тяжелы». Потому что я сам это понимал. Став Святым, каждое произнесенное мной слово превращалось в безотзывной контракт. Такое давление не дано понять обычным людям. Но сидевший передо мной монах понимал это. Его старший сородич тоже понимал. Пожалуй, каждый конфуцианский практик из семьи Сюй понимал это.

— Тот старший сородич, о котором ты говорил, — начал я. — Почему он не мог писать? Это связано с врагами семьи Сюй?

Монах слегка покачал головой:

— Этот бедный монах не знает. Но наставник говорил, что его раны не были врожденными — его изувечили. Меридианы на правой руке перебиты напрочь, каждую кость сращивали заново, и то, что он может держать палочки для еды — уже чудо. Кто-то не хотел, чтобы он писал.

Кто-то не хотел, чтобы люди из семьи Сюй писали. Сюй Мо преследовали восемнадцать лет, вся семья Сюй была вырезана, а еще один представитель рода Сюй — то ли дядя, то ли дед — с перебитой правой рукой был брошен под обрывом на задней горе монастыря Ланькэ. Все ниточки вели в одном направлении: кто-то вел охоту на конфуцианских практиков из семьи Сюй. Это были не случайные нападения, а планомерная, продуманная «зачистка».

— Этот бедный монах понимает, о чем думает благодетель. — монах сложил ладони. — Благодетель хочет узнать, живы ли еще те люди. Живы. Благодетель хочет узнать, знает ли этот бедный монах, кто они такие. Не знаю. Но я знаю одно... — он открыл глаза, и в янтарном взгляде не было ни гнева, ни страха — лишь глубокое, тяжелое спокойствие. — Последними словами наставника перед уходом в нирвану были: «Кисть в бамбуковой роще должен кто-нибудь вытащить».

— Вот почему я пришел.

Он смотрел мне в глаза, сидя прямо, положив руки на колени, а на его серой рясе все еще виднелась грязь из поселка Цинши. Молодой монах, вышедший из глубин северных гор, с обещанием двадцатилетней давности и письмом без подписи, сидел прямо передо мной.

Дождь за окном окончательно прекратился. Капли воды на листьях софоры сверкали под лучами солнца, словно целое дерево, усыпанное осколками цветного стекла. Ворон неизвестно откуда прилетел обратно, уселся на подоконник, стряхнул капли с перьев и склонил голову набок, разглядывая монаха. Монах тоже склонил голову, разглядывая ворона.

— Ворон благодетеля?

— Нет. Сам увязался.

— Прекрасно. — монах сложил ладони и поклонился ворону. — Мое буддийское имя Сань Вань. Осмелюсь спросить имя благодетеля?

Лю Руянь выплонула глоток чая:

— Твое буддийское имя — Сань Вань?

— Этот бедный монах падок до еды. Наставник говорил: «Три миски — и не переходи перевал; перейдешь — назад пути не будет». Вот я и взял имя «Сань Вань», чтобы напоминать себе во всем знать меру.

— Но ты только что съел четыре миски.

— ... — монах Сань Вань опустил взгляд на пустую миску из-под вонтонов с овощной начинкой и долго молчал. — Именно поэтому мне необходимо стать учеником. Наставник был прав: трех мисок и впрямь недостаточно.